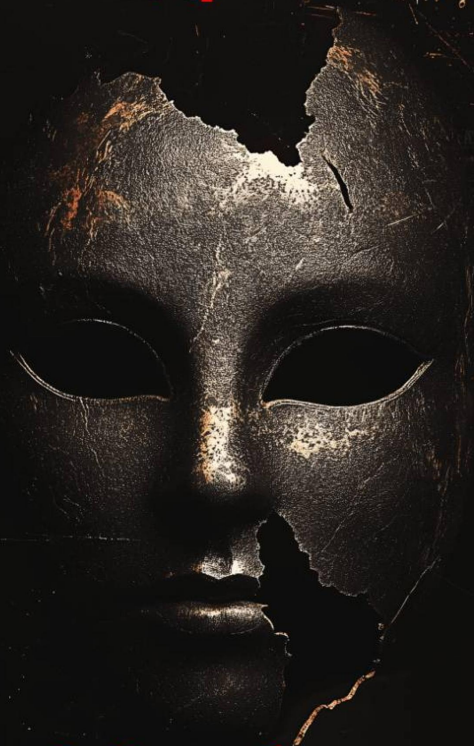


Александр Восьмой



**Книга 1. Колыбельная из
ржаного поля**

18+

Александр Восьмой

Книга 1. Колыбельная

из ржаного поля

<https://litres.ru/74435424>

SelfPub; 2026

Аннотация

В деревне, где родился Мужик Оптима, дети исчезали по одной простоянной причине: мать пела им колыбельную, которую слышала во ржи. Когда замолкала — ребёнок уже лежал в кровати с открытыми глазами и не дышал, но улыбался. Оптима вырос единственным, кто не заслушался. Теперь, тридцать лет спустя, песня вернулась — уже к его дочери. И чтобы её остановить, ему нужно найти того, кто поёт во ржи, в глубине чернозёмной ночи, где корни деревьев сплетаются с корнями мёртвых. Первая книга цикла — о том, как сказка стучится в дверь и просит пустить на ночь.

Александр Восьмой

Книга 1. Колыбельная

из ржаного поля

Глава 1. Тишина, которая поёт

Ночь легла на деревню тяжёлым саваном, и даже ветер боялся шевельнуть сухие стебли ржи. В доме Мужика Оптима светился единственный оконный квадрат — там Прима укачивала его дочь, напевая ту самую колыбельную: тихую, сладкую, будто сотканную из лунного света и чужого шёпота. Оптима стоял в дверях, стискивая кулаки так, что ногти врезались в ладони. Он знал эту песню с детства — знал, чем она кончается.

Фаргус, прислонившийся к косяку, тихо выдохнул:

— Она не слышит. Ты ей говоришь, а она не слышит.

Оптиметнул на него взгляд, полный бессильной ярости:

— Она слышит. Просто не хочет верить.

Окси, всегда чуявший опасность раньше всех, вдруг вскинул голову, будто уловил в воздухе металлический привкус страха:

— Там кто-то есть. В поле. Не человек.

Даффи Толстяк, обычно шутивший, чтобы прогнать жуть, на этот раз молчал, вцепившись пальцами в край стола. Его плечи вздрагивали, как у загнанного зверя. Сиринити, самая тихая из них, прошептала, глядя в темноту за окном:

— Песня не её. Её кто-то подкидывает, как камень в воду. И круги идут дальше.

Прима вдруг оборвала пение на полуслове, словно кто-то дёрнул невидимую нить. Девочка в кроватке замерла, глаза распахнулись — не по-детски широко, не по-живому. И на губах расцвела улыбка, холодная, как иней на стекле.

Оптиме рванулся вперёд, схватил дочь на руки, прижал к груди, будто мог согреть её теплом своего сердца. Но кожа была уже не тёплой — она была гладкой, неподвижной, чужой.

— Нет, — хрипло прошептал он, качаясь из стороны в сторону. — Нет, не снова.

Фаргус шагнул к окну, вглядываясь в чёрную стену ржи:

— Мы найдём того, кто поёт. Даже если придётся спуститься туда, где корни мёртвых сплетаются с корнями живых.

Окси достал нож, лезвие тускло блеснуло в свете лампы:

— Я пойду первым.

Сиринити тихо коснулась плеча Примы, которая всё ещё стояла, застывшая, с пустой колыбельной на губах:

— Прости. Но теперь мы должны её забрать.

И деревня, будто услышав эти слова, вздохнула — не ветром, не скрипом ставен, а чем-то древним, тяжёлым, что жило в ней задолго до людей. Ржа на краю пашни зашелестела, как тысячи босых ног, идущих в такт неслышной песне.

Оптима поднял голову, встретился взглядом с тьмой за окном — и впервые за тридцать лет понял: сказка не стучится в дверь. Она уже внутри. И просит не пустить её на ночь — а остаться навсегда.

Глава 2. Мальчик, который не слушал

Тридцать лет назад деревня ещё не знала тишины. В ней жили куры, собаки, скрип телег, материнский крик с печи: «Не бегай босиком!» — и дети. Двенадцать детей, двенадцать голосов, двенадцать кроваток, в которые вечерами укладывали по одному, как свечи в церковные подсвечники.

Мужик Оптима тогда не был мужиком. Он был просто Оптимой — щуплым, стриженным под машинку мальчишкой с привычкой смотреть в потолок, когда все вокруг замирали от сладости материнской песни.

Мать пела прекрасно. Это признавали все. Голос у неё был низкий, бархатный, с тёплой хрипотцой, словно кто-то

гладил по волосам невидимой рукой. Она пела так, что воздух густел, тени softenали, и даже мухи переставали биться о стекло — садились и слушали.

Оптима зажимал уши.

Не потому что боялся. Потому что видел. Каждый вечер, когда мать начинала петь, тень от ветки за окном меняла форму. Вместо одной тени становились две. Вместо ветки — пальцы. И пальцы эти тянулись не к луне, а к кровати.

Он видел это только потому, что не слушал.

Первой замолчала Люська с краю. Той, что жила у оврага. Мать нашла её утром — глаза открыты, улыбка на месте, дыхания нет. Священник крестил воздух и уехал на заре. Вторым замолчал брат-близнец кузнеца. Третьей — девочка, которая боялась темноты так сильно, что не могла заснуть без лампы. После песни матери лампу не гасили. Просто она больше не горела.

Деревня тонела в тишине, как лодка в трясине. Мужики ходили с лицами землистого цвета, бабы не плакали — выли, но тихо, чтобы не услышало поле. А поле слышало всё.

Фаргус тогда был мальчишкой с соседнего двора, на год старше, с обветренными губами и вечной палкой в руке — он ею тыкал во всё подряд: в муравейники, в сухие пни, в лужи, в небо. Он первым заметил, что Оптима остаётся.

— Ты чё не спишь? — спросил он, перелезая через забор в сумерках.

— Я сплю, — ответил Оптима. — Но не слушаю.

— Чего не слушаешь?

— Песню. Не слушай. Она забирает.

Фаргус тогда не понял. Но запомнил, как запоминают дурацкое — крепко и навсегда. Потому что через неделю он лежал в своей кровати, мать начала петь, и он вдруг увидел на потолке тень — не от ветки, не от пальцев, а от чего-то без названия. И заткнул уши так сильно, что пальцы побелели.

Утром он был жив.

Даффи Толстяк — тогда просто Дима, круглый, с щеками как пироги — не затыкал уши, потому что мать ему не пела. Мать ушла, когда ему было три. Бабушка пела, но другую песню — про кота, который пошёл на базар. Кот с базара не вернулся. Бабушка тоже не вернулась — померла по весне. Дима остался с дедом, который не пел никогда. Может, поэтому Дима и вырос. Может, поэтому не улыбался.

К пятым похоронам в деревне осталось четверо детей: Оптима, Фаргус, Даффи и Окси — девчонка с косичками тугими, как верёвки, и характером ещё туже. Окси не затыкала уши. Она просто уходила из дома, когда мать начинала петь. Ночью. Босиком. По росе. До ближайшей канавы, где садилась в холодную воду и ждала, пока песня кончится. Когда возвращалась — мать уже спала, а в кроватке маленького брата было пусто.

Окси молчала об этом тридцать лет.

Сиринити появилась позже — когда Оптима было четырнадцать и он впервые попытался уехать. Она стояла на оста-

новке автобуса с пустым чемоданом и лицом, на котором ничего не читалось — ни страх, ни возраст, ни пол. Автобус не пришёл ни в тот день, ни в следующий. Сиринити осталась. Она не пела, не молчала, не затыкала уши. Она слушала — и жила. Никто не понимал как. Никто не спрашивал.

Прима пришла в деревню последней — уже после того, как замолчали все дети, кроме четверых. Она была молодой учительницей из города, с тонкими запястьями и привычкой говорить «давайте разберёмся», будто в любой тьме можно найти выключатель. Она не знала про песню. Не знала про ржу. Не знала, что в этой деревне слово «колыбельная» произносят шёпотом, а при слове «спать» крестятся.

Оптиме уехал в двадцать. Город был как бетонный тамбур — длинный, серый, без окон, но без песен. Он устроился на завод, женился на женщине с голосом высоким и плоским, как лист жести. Родилась дочь. Он назвал её именем, которое не имело веса, не имело мелодии, не звучало как песня. Он думал, что этого достаточно.

Тридцать лет он не слышал мелодии. Но мелодия слышала его. Она жила внутри — как заноза, которую рентген не нашёл, потому что она вросла не в кость, а в тишину между ударами сердца. Иногда, в полнолуние, когда город засыпал и даже фонари гудели тише, Оптиме чувствовал: что-то шевелится в этой тишине. Не звук. Не мысль. Нечто, что знало его имя и помнило вкус его матери.

Прима приехала в город через неделю после того, как дочь

Оптимы впервые услышала песню.

Она стояла у подъезда с тем же пустым чемоданом и лицом, на котором теперь читалось одно: усталость длиной в тридцать лет.

— Она поёт, — сказала Прима вместо приветствия.

— Кто? — спросил Оптима, хотя знал.

— Дочь твоя. И кто-то за окном. Я приехала сказать: пора возвращаться.

— Куда?

— Домой. Туда, где ржа шумит босиком. Туда, где корни сплетаются с корнями мёртвых. Туда, где ты единственный, кто не заслушался, — и единственный, кто может остановиться.

Оптима молчал долго. Потом посмотрел в окно — на фонарь, на асфальт, на город, который не умел петь. И услышал: дочь в соседней комнате напевала. Тихо. Сладко. Голосом, которого у неё никогда не было.

Глава 3. Фаргус и Толстяк

Фаргус всегда чуял чужой страх раньше, чем человек успевал его почувствовать. Не глазами, не ушами — чем-то глубже, тем, что живёт под рёбрами и ворочается, как рыба на льду. Сейчас это ворочалось так сильно, что он не мог дышать.

Он стоял у проходной завода, где Оптима варил сталь, и ждал. Ждал три часа. В руках — мятый листок, вырванный

из тетради, с нарисованным от руки маршрутом и тремя словами: «Приезжай. Поют снова».

— Ты чего тут? — Оптима вышел в серой робе, с копотью на скуле и глазами, которые давно разучились удивляться.

— Дети, — сказал Фаргус. — В деревне. Снова.

Слово «снова» упало между ними, как монета в колодец. Долго, гулко, без дна.

— Сколько? — спросил Оптима.

— Трое. За месяц. Маленькая Тоня с того двора, где у печки трещина. Близнецы Зубовых — оба в одну ночь. Мать пела. Потом замолчала. Потом уже не надо было молчать.

Оптима снял кепку, протёр лоб рукавом. Руки тряслись — но не от усталости.

— Кто ещё знает?

— Все. Но молчат. Как тогда. Бабки крестятся, мужики пьют, поп новый — молодой, из города — ходит по домам, читает молитвы. А дети улыбаются.

Фаргус замолчал. Потом добавил тише:

— Я слышал её, Оптима. Прошлой ночью. Стоял у дома, где Тоню нашли. И услышал — из-за стены, из-за ржи. Не мать. Другое. Голос тonyше, дальше, словно кто-то поёт не для ушей, а для костей.

— Ты не заслушался?

— Я зажал уши. Как ты учил. Тридцать лет назад.

— А Тоня?

— Тоня не зажала.

Оптимист закрыл глаза. Под веками — потолок детства, тень от ветки, пальцы.

— Сядь, — сказал он. — Расскажи всё.

Дафф Толстяк приехал на следующий день — на грузовике, *borrowed* у соседа, с двумя баклажками кваса и мешком картошки, будто ехал не на похороны, а на пикник. Он вышел из кабины огромный, медлительный, с лицом, на котором горе живёт не в глазах, а в уголках рта — там, где улыбка когда-то начиналась и не закончилась.

Он не говорил «здравствуй». Сказал:

— Оптимист.

Обнял. Так, что хрустнули рёбра. И Оптимист впервые за тридцать лет почувствовал, что кто-то держит его крепче, чем тьма.

— Я видел, — сказал Дафф. — Я сам заходил. К близнецам. Когда нашли.

Голос его был низкий и глухой, как звук пустого колокола.

— Они лежали вдвоём в одной кровати. Маленькие. Руки переплели. Глаза — на месте, но не здесь. И улыбки... — он сглотнул, и кадык двинулся, как камень в горле. — Один улыбался влево. Другой вправо. Будто кто-то стоял между ними. И обоим было хорошо. Вот что страшнее всего. Им было хорошо.

Фаргус отвернулся к окну. Город за стеклом жил обычной

жизнью — машины, светофоры, бабка с авоськой. Всё это было так далеко, будто за другим морем.

— Ты был единственным, кто вырос без песни, — сказал Оптима, глядя на Даффи. — Твоя бабушка пела про кота. Кот не вернулся. Ты не заслушался, потому что не было чего слушать. А теперь?

— А теперь я слышу, — сказал Даффи, и впервые за всё время в его голосе дрогнул страх. — Не песню. Тишину после. Она стоит у меня за спиной, когда я сплю. Я просыпаюсь — она просыпается со мной. И я знаю: если однажды заслушаюсь, то улыбнусь. И не перестану.

В комнате повисла тишина — та самая, что поёт. Оптима встал, подошёл к полке, снял жестяную банку, достал оттуда листок, пожелтевший, сложенный вчетверо. Развернул. На нём — рисунок: ржаное поле, а в нём — силуэт. Не человеческий. Не звериный. Что-то между, с длинными руками и головой, наклонённой набок, будто прислушивается.

— Я нарисовал это в семь лет, — сказал Оптима. — Мать сказала — ветка. Но ветки не слушают.

Фаргус взял листок, долго смотрел. Потом положил на стол.

— Мы едем, — сказал он. — Все. Ты, я, Даффи. Окси. Сиринити. Прима. Все, кто остался. Все, кто слышал и не заслушался.

— И что мы там найдём? — спросил Даффи.

— Того, кто поёт, — ответил Фаргус. — Или то, что поёт.

Разницу узнаем на месте.

Оптимист посмотрел на рисунок, на стены, на окно, за которым дочь в соседней комнате тихо напевала мелодию без слов. Мелодию, которую он тридцать лет носил в себе, как занозу в тишине между ударами сердца.

— Едем, — сказал он. — Но сначала я скажу дочери, что люблю её. Потому что могу не успеть сказать это после.

Глава 4. Возвращение в чернозём

Дорога до деревни шла через три слоя памяти.

Первый — асфальт. Город расплывался в зеркале заднего вида, как клякса, которую пробовали стереть и только размазали дальше. Оптимист сидел за рулем, пальцы на баранке — белые, сжатые, будто не руль держал, а край моста над чёрной водой. Фаргус рядом — ноги на торпеду, глаза закрыты, губы шевелятся без звука. Он молился. Или считал. Или зазывал удачу — у Фаргуса всегда был свой счет к темным силам, без чеков и расписок.

Даффи Толстяк сидел сзади, занимая собой две трети сиденья, и ел хлеб. Большими кусками, не отрывая, не жуя толком — просто глотал, как будто боялся, что в животе пустота, а пустота эта умеет слушать.

— Хлеб спасает? — спросил Фаргус, не открывая глаз.

— Тошнит от пустого желудка, — ответил Даффи. — А когда тошнит — не слышишь. Проверено.

Второй слой — тайга. Кедрач вставал по обочинам стеной,

чёрной, густой, пахнувшей хвоей и сыростью. Дорога сузилась, асфальт кончился, пошёл грейдер — ухабистый, рыжий, как старая кровь. Машина подпрыгивала, подвеска стонала, и в этом стоне Оптиме слышалось другое — далёкое, детское, из тех времён, когда подвеской была телега, а телегой правил дед с лицом, высеченным из дуба.

Тайга молчала. Не тихо — молчала. Есть разница. Тишина — когда звуков нет. Молчание — когда они есть, но не решаются.

— Здесь Оксана Аверьянова пропала, — вдруг сказал Даффи. — Помнишь? В седьмом классе. Пошла за ягодами и не вернулась. Нашли через неделю — сидела под кедром, спина к стволу, глаза открыты. Улыбалась.

— Помню, — сказал Оптима.

— Ей не пели, — продолжил Даффи. — Просто она вошла туда, где песня живёт без певца. В тайгу. В корни.

Фаргус открыл глаза. Они были цвета мокрого асфальта — сегодня мокрого сильнее обычного.

— Мы не в тайгу едем, — сказал он. — Тайга — это porch. Крыльцо. Дверь — дальше.

Третий слой — болота. Дорога нырнула в низину, и мир стал плоским, серым, бескрайним. Кочки поросли мхом цвета старой раны. Вода стояла в колеях — чёрная, неподвижная, как зеркало, в котором отражается не небо, а то, что под небом. Машина замедлилась, колёса буксовали, чернозём хватался за них, как пальцы.

— Земная тянет, — пробормотал Даффи, бросая взгляд в окно. — Всегда тянула. Здесь каждая кочка — кто-то.

— Хватит, — сказал Оптима.

— Нет, не хватит, — возразил Даффи тихо, но твёрдо. — Ты тридцать лет бежал. Я тридцать лет молчал. Хватит — это когда мы найдём и вернём. А пока не хватит. Пока мало.

Оптима не ответил. Дорога петляла между болотами, и в каждом повороте ему мерещилась фигура — высокая, тонкая, с головой, наклонённой набок. Он не смотрел. Но видел.

Деревня появилась из тумана, как воспоминание, которое пытались забыть, а оно вспомнилось само.

Низкие дома, тёмные брёвна, крыши, поросшие мхом. Заборы покосились — некоторые упали и лежали, как старые солдаты после марша. Пустые дворы. Пустые качели. Колодец с ведром, которое не качалось — висело мёртво, будто воду из него вытянули до дна и на дне нашли не воду.

Но не всё было пусто. Кое-где в окнах горел свет — тусклый, жёлтый, как умирающий одуванчик. Из одного дома шёл дым — не печной, другой, тонкий, кислый, от сырости, которой не место в трубе. Собака на цепи у крайнего двора не залаяла при виде машины — подняла голову, посмотрела, опустила. Собаки здесь давно перестали лаять. Лай — это предупреждение. А предупреждать не от кого. Оно уже внутри.

Фаргус вышел первым. Встал, расставив ноги, как человек, который вернулся туда, где его ждут — но не люди. Он поднял лицо к небу — серому, низкому, прижатому к земле, словно облака тоже боялись высоты.

— Чувствуешь? — спросил он.

— Чувствую, — ответил Оптима, вылезая из машины.

— Что?

— Тишину. Она... поёт.

И верно — в деревне было тихо. Ни ветра, ни скрипа, ни птиц. Но эта тишина имела тембр. Низкий, грудной, как мёртвое эхо живого голоса. Не звук, а его тень, отброшенная на стену времени.

Даффи обошёл машину, тяжело ступая по мягкой земле. Чернозём здесь был жирным, почти маслянистым — нога тонула по щиколотку, и каждый шаг давался с усилием, будто земля просила: останься. Ляг. Спи.

— На въезде, — сказал Даффи, и голос его дрогнул так, что кадык двинулся, как камень.

Они подошли.

Могилка была свежей. Земля на ней — тёмная, рыхлая, не успевшая покрыться травой. Маленькая. Так маленькая, что сердце сжималось от самой её длины — метр с небольшим. Детская. Вместо креста — деревянная лошадка. Вырезанная грубо, с длинной шеей и гривой из щепок. Кто-то вырезал её с любовью и неумением — и от этого было страшнее, чем от любого креста.

Оптимист опустился на колени. Земля была тёплой. Не от солнца — солнца не было. Тёплой изнутри. Как будто под этим холмиком что-то ещё дышало. Или пело.

— Кто? — спросил он.

— Мальчик. Четыре года, — ответил Фаргус, глядя не на могилу, а поверх — на дома, на ржу за деревней, на небо, в котором не было ни птиц, ни надежды. — Мать укачивала. Пела. Она говорит — сама не помнит слов. Говорит, песня пришла сама, из окна. А окно выходило на ржу.

— И улыбался?

— Улыбается. Даже сейчас. Гроб не закрывали. Не могли.

Даффи отвернулся. Его огромные плечи дрожали — не от холода, от того, что внутри плечей, в месте, где живут слёзы, которые некуда выплакать. Он видел много смертей за свою недолгую и долгую жизнь. Но детская улыбка, которая не умирает вместе с телом, — это было за пределами того, что он умел держать в себе.

— Поехали, — сказал Оптимист, поднимаясь. Земля налипла на колени, чёрная, жирная, живая.

— Куда?

— К дому. К моему дому. Если он ещё стоит.

Они сели в машину. Двигатель завёлся со второй попытки, кашлянув, будто проглотил что-то горькое. Оптимист выжал газ, и машина поползла по улице, мимо пустых дворов, мимо колодца с мёртвым ведром, мимо собаки, которая не подняла головы.

У дома Оптимы свет горел.

В окне стояла женская фигура. Не Прима — другая. Тоньше, темнее, с лицом, которое не отражало свет, а поглощало его. Она смотрела — не на них, а сквозь. Сквозь стекло, сквозь двор, сквозь тридцать лет.

— Это кто? — прошептал Фаргус.

Оптиме не ответил. Но его руки на руле побелели, и он знал, что Даффи видит это, и Фаргус чувствует это, и все трое понимают: дверь, о которой говорила сказка, — не входная. Она внутри. Она была внутри всегда. И она уже открыта.

Лошадка на могилке покачнулась без ветра. Грива из щепок скрипнула, будто рот, который пытается петь.

Глава 5. Окси

Дом Окси стоял на отшибе — последний на улице, там, где дворы кончаются и начинается бурьян, а за бурьяном — ржа. Строение было старое, кривое, с крышей, просевшей, как плечо усталого человека. Но крепкое. Окси всё держала крепко — с того самого детства, когда сидела в холодной канаве по пояс в воде и ждала, пока песня кончится, а брат — замолкнет.

Окна были заткнуты тряпками. Не занавешены — заткнуты. Каждая щель, каждая дырка,## просвет между стеклом и рамой — забита лоскутами, грязными, заскорузлыми, пахнущими землёй и сухой полынью. Не от света. От звука.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.